

В. В. ШМИДТ

## ВСТРЕЧИ В ТАРТУ

Вера Владимировна Шмидт преподавала русский язык и литературу в одной из средних школ г. Тарту; с 1970 г. — на пенсии. В 1938 г. она была студенткой Тартуского университета. К этому времени относятся ее воспоминания, написанные для «Литературного наследства».

Иван Алексеевич Бунин приехал в Тарту 5 мая 1938 г. Он пробыл здесь шесть дней, в течение которых удалось видеться с ним и говорить, а одна встреча оказалась более продолжительной. О ней-то, главным образом, и хочется рассказать. Этой встрече предшествовала и даже определила ее до некоторой степени переписка — и, чтобы быть последовательной, начну с нее.

Первая открытка от 9 декабря 1937 г. пришла в ответ на посланный мною Бунину рассказ — о русской деревне, где я будто бы ночевала в сарае на сене, что было, конечно, выдуманно, потому что ни в каком сарае, ни на каком сене спать мне тогда еще не доводилось. А по деревням мы ходили, записывая песни и зарисовывая постройки и утварь в целях фольклорной студенческой практики. Вот она, эта открытка:

Прочел, дорогая моя, «В дороге», но ведь это не рассказ, а просто крохотный набросок. Он очень мил, но судить по нем ни о чем нельзя. Желаю вам всего доброго — и, если хотите чего-нибудь достичь, долгой и упорной работы.

Ив. Б у н и н

9.XII.37.

Вспоминаю свою радость, восхищение при получении письма. Получить ответ от Бунина после разговоров о его «холодности» и даже «сухости» было и впрямь радостно. Молодое мое самолюбие не было задето: прямое и лаконичное письмо было попросту добрым. Это дало мне право написать еще: попросила карточку. С фото глянули на меня удивительные глаза, старое — с повелительно-нежным и горестным выражением — лицо; оно было мне знакомо по книгам и все же оказалось новым. Так вот он какой теперь... а где же то умиление жизнью, любовью, с которым он писал свои юношеские стихи, переводил «Гайавату»? Здесь уже что-то другое в лице. Но на обороте карточки были слова, тронувшие меня опять добротой, нежностью. Приписка: «Я, может быть, буду скоро в ваших краях», — помню, даже не очень удивила меня. По молодости, по какому-то внутреннему убеждению верилось, что встреча непременно состоится и я во что бы то ни стало увижу Бунина.

Весна в тот год выдалась затяжная, холодная. В конце апреля все еще было совершенно голо, сизо, пасмурно, пригорки едва зеленели. Время, казалось, застыло, как обрывки дождевых туч с их пепельно-седыми краями, которые к закату становились прозрачно-золотистыми и таинственными, как все кругом: сады, березы, мрачно-красные развалины на горе с их выщербленными стенами и готическими окнами библиотеки. Когда ждешь и веришь, а никто этого не знает (ну, почти никто!), тогда бродится особенно хорошо, особенно жадно смотрится, и запоми-

наются вещи и оттенки вещей тоже какой-то особой — как бы один раз дающейся тебе — памятью.

Между тем слухи о приезде Бунина в Тарту подтвердились, и теперь уж только и было разговору среди читающей публики что об этом. Даже те, которые называли его «холодным» и «рассудочным» и предпочитали ему мистического Мережковского, не могли скрыть своего интереса и волнения по поводу приезда Бунина.

В первых числах мая я получила от него письмо из Риги:

30 апреля 38 г.

Дорогая моя татарка, — мне это в вас тоже очень нравится, — я буду в Тарту, вероятно, 6 мая, в 2 ч. 40 м. дня. Если придете в этот час на вокзал, подойдите ко мне и позовите себя, — я ведь вас в лицо не знаю. Тогда условимся, где и когда мы с вами посидим, поговорим.

Будьте, пожалуйста, здоровы.

Р. S. Вспоминаю с большим удовольствием ваше последнее письмо ко мне, — оно было очень хорошо, а я на него не ответил, и вы, верно, были обижены (как видите, напрасно).

Наконец, 5 мая он приехал. Приехал на день раньше намеченного срока, но делегация от русского общества успела его встретить и была огорчена его небрежным и — как говорили — совершенно равнодушным к приготовленной встрече отношением...<sup>1</sup> Бунин сказал, что устал, и просил тотчас везти его в гостиницу, что, конечно, и было сделано (хотя многих обидело его поспешное желание отделаться от встречавших). Все это узналось позже. В день приезда, уже к вечеру, подруга, вызвав меня с экзамена французского языка, вручила мне записку, писанную бунинской рукой:

Милая Вера, я послал вам в 6 часов записку — вас не было дома. Если вы сейчас дома и можете со мной повидаться, приезжайте с такси, с которым я посылаю эту записку. Я сижу в ресторане «Kuld-Lõvi».

Прочла и, схватив пальто, выбежала из аудитории. Ресторан «Kuld-Lõvi» в двух шагах. Через несколько минут спускаюсь по ступенькам и вхожу в просторную, как бы сумеречную, низковатую комнату и у крайнего столика, справа, под окном, вижу Бунина. Вижу старого, усталого человека, чем-то будто слегка озадаченного, словно недовольного, который легко поворачивается и — как бы узнавая — зорко смотрит на меня. Да — первое впечатление: зоркость и простота (не простодушие!); перед ним не надо и нельзя притворяться, он все равно увидит все, что ложно. Однако, какой же он старый — горькие морщинки вокруг рта, мешки под глазами. Но это впечатление проходит, как только начинаем разговаривать, и он, со своей удивляющей меня добротой, не замечая ни моих красных щек, ни первой растерянности, ни сбивчивости моего рассказа, расспрашивает, откуда я так стремительно прибежала. Что еще там говорилось, не помню, — помню, что играла громко музыка в соседнем зале, и я прислушивалась к ней, смутно сознавая необычность этой встречи и думая, что неужели так этим и кончится и я ничего, ничего так и не выскажу, кроме этих общих малозначащих фраз. Но он знал это, видел. Тут же условились, что на завтра (в 3 часа пополудни) я приду в «Grand-Hôtel», где он остановился, со всем своим писанием: «Вот тогда посидим, поговорим».

Общество русских студентов<sup>2</sup>, куда Иван Алексеевич пришел в тот вечер (часу в восьмом), было тоже близко — в доме, что теперь по ул. Кингисеппа № 8, и там уже ждали его. Собрались студенты, представители от почетных членов Общества, но особенно многолюдно не было. Правда, ждали с интересом появления в скромной нашей студенческой квартире

знаменитого писателя, но встречи — такой, как большинство собравшихся представляло себе, — не получилось. Бунин сидел в кресле у стены среди дам и студентов, частью обступивших его, частью глядевших на него с другого конца комнаты, — кто сел на окно, кто прислонился к дверному косяку, — сидел с тем усталым и скучающим видом, в том нерасположении к разговорам, которым он удивил уже встречавших его людей. Он даже сбивал с толку манерой задавать вопросы или делать свои замечания: «Ну можно ли с такой бородой ходить, ведь ни на что не похоже!» (про уважаемого профессора, нашего почетного члена, портрет которого висел в столовой на стене). Было в нем в тот день и что-то очень грустное, даже застенчивое, что он будто пытался скрыть... какое-то недовольство собой: «Ну, приехал, пришел в гости — а вы-то любите ли меня?».

Не дождавшись чаю, он поднялся, уверяя, что чаю по вечерам не пьет. Тут уж я не выдержала и выскочила из соседней комнаты, где пряталась (из каких — уж не могу теперь сказать — соображений), прямо к нему на глаза. Он понял, сказал только: «Проводите меня до гостиницы, тут ведь недалеко, пройдем пешком». И вот мы вышли на тихую, весеннюю, полную белых сумерек улицу, завернули за угол, медленно пошли мимо ратуши, мимо Гостиного двора, через зеленый только еще кустами Барклайский садик, вышли на Обводную (теперь Валликраави). Во мне все остановилось от внимания, от мысли, что иду с Буниным, — я не находила никаких слов для разговора. А он идет, видимо, наслаждаясь этой северной, светлой спускающейся ночью, этим тихим, малолюдным к вечеру городом, всем, что есть в нем чужого и нового. И вдруг:

— Посмотрите, извозчик с дугой!

Это меня удивило.

— А как же, Иван Алексеевич, разве можно запрягать без дуги?

— Запрягают же. Там, во Франции, не увидите, чтобы извозчик с дугой.

Я начала спорить, уверяя, что лошади в одном хомуте тяжелее, потому что не понимала тогда его внимания к этим вещам. Бунин на это сказал (почему-то мне это запомнилось):

— Не знаю, тяжелее ли ей. Но извозчика с дугой я только в России видел. Давно.

Сказал не мне, а самому себе. А у меня сердце сжалось — не от жалости, а от какого-то другого, более пронзительного чувства. И опять он молчит и идет рядом, прямой, стройный, молодой еще всем своим существом, чем-то странно наполненный и такой одинокий.

Помнится, приезд Ивана Алексеевича в Тарту вызвал различные толки. Говорили и судили настолько разное, что трудно было по этим разговорам составить себе о нем достаточно ясное представление. Одни указывали на его небрежность в обращении, другие называли его надменным, остроумие его тонким, повторяли брошенное им словечко — *bon mot* знаменитого человека; третьи — а этих было меньше — говорили, что сам по себе он прост, но раздражителен, как бы неучтив. «Помоги ему — и он повернется к тебе своей хорошей, душевной стороной». Привожу эту строку из письма ко мне Марии Владимировны Карамзиной (покойной), которую считаю в числе друзей Ивана Алексеевича. Между ними была очень живая переписка<sup>3</sup>, Бунин посылал ей вырезки из газет, отрывки печатавшихся в Париже его произведений, интересовался ее мнением. Хочется упомянуть о Карамзиной — человеке с большим литературным дарованием, которое признавал Иван Алексеевич (он содействовал выходу в свет ее сборника стихов «Ковчег»), — именно в связи с пребыванием Бунина в Тарту, где они и познакомились. Раньше они были знакомы только по письмам. Мария Владимировна бывала в тех домах, куда был зван приехавший писатель. Она рассказывала мне



ТАРТУ. КАМЕННЫЙ МОСТ

Открытие, 1920-е годы

Собрание В. В. Шмидт, Тарту

потом, как он очень сердился, когда его «обхаживали» как лауреата, смотрели ему в рот и ловили его движения; как он не хотел этого — и, как только с ним заговаривали просто, становился тоже прост, весел и даже добр. Был он таким и со мной.

Особенно запомнилась мне эта его черта обхождения во второй день по приезде, когда я пришла к нему со своим, как он называл, писанием.

Мне ни тогда, ни после не пришло в голову записать хоть часть этой встречи. Значительность ее была ясна мне и тогда, но — думалось — и так буду помнить. Однако помнится только общее, да и то весьма немногое. Правда, я об этом потом много думала, вспоминала, говорила с той же Марией Владимировной — поэтому, может быть, некоторые вещи и помню так отчетливо. Большая, светлая комната с окнами на парк, во втором этаже. Посередине стол. На том конце стола, лицом к окну, Бунин со своим хотя печальным, но отдохнувшим и помолодевшим лицом. Он в халате, за стаканом чая. Иногда взглядывает в окно, откуда видна горка и перила по ней и темные голые клены по холму. Он спокойно слушает, как я читаю по своей тетрадке, сбиваясь и краснея; изредка что-то говорит, что до меня доходит позже.

Помню, как мне сделалось стыдно какого-то очень уж слабого места: почувствовалось по молчанию Ивана Алексеевича, — он так особенно молчал. «Скверно», — подумала я и закрыла тетрадь. Он понял — и не стал разубеждать. И того, что я ожидала, не случилось, т. е. что он встанет, подойдет ко мне и скажет: «Вы очень талантливы. Пишите. Из вас выйдет...» и т. д. Но то, что он слушал, заставлял еще читать (прочла ему два рассказа и несколько стихотворений), давало мне какое-то право на что-то надеяться.

И еще, насколько помню, Бунин о себе ничего не говорил или говорил очень мало. На мои слова, что мне очень трудно переделывать и переписывать заново, он сказал: «А я много жгу».

Еще поразил он меня своей памятью. Помню, я призналась, что мне в жизни чего-то недостает, хочется особенного, некаждодневного. Иван Алексеевич на это заметил:

— А-а, это как в ваших стихах...

И он совершенно серьезно прочел две строчки из моего стихотворения, которое я задолго до того послала ему в Париж:

Проходит жизнь журчаньем чуть приметным,  
А я молюсь: «Громам меня отдай!»

Было три часа пополудни, когда я пришла в Гранд-Отель, а ушла в шестом часу. Помню ясно из всего разговора (говорили о книгах, об эмигрантских писателях, о Сирине, о котором Иван Алексеевич, к моему удивлению, отозвался совершенно равнодушно<sup>4</sup>), помню ясно две вещи, которые поразили меня сильнее всего. То, что он сказал, приводя место из «Казаков» Толстого:

— Так, как он, мне ни за что не написать.

— Вы помните, — говорил он дальше, — как Устенка нарвала зеленых веток, навесила их на арбу, как они лежат в прохладной тени их, разговаривают о своем и хохочут. И все это: сбор винограда, казаки, горы... Какая в этом жизнь...

Его любовь к Толстому, детская, восторженная, такая удивительная в старом писателе, поразила меня. Всю жизнь перед ним был тот, до которого ему все равно не достать, как бы и сколько бы ни писал, — он так и сказал тогда об этом.

Позже я нашла это место по книге — начало XXX главы — и еще раз вспомнила, как Бунин сказал: «И как это по-настоящему».

Надо было уходить. Мне казалось теперь, что я зря пришла со своими сочинениями, сижу тут и задерживаю человека, который столько сделал на писательском пути — а все еще считает себя недостаточно сильным. Уныния своего я не умела скрывать. Бунин со своей строгой зоркостью заметил это, но утешать и напугивать не стал... это значило бы еще больше обидеть. А я смотрела на его темно-желтый халат и думала: «Вот уйду — и кончится наше знакомство».

Но оно все же не кончилось и продолжалось еще довольно долго.

Вдруг Иван Алексеевич спросил меня:



ТАРТУ. УНИВЕРСИТЕТ

Открытка, 1920-е годы

Собрание В. В. Шмидт, Тарту

— А вы любили?

— Нет,— отвечала я,— увлекалась, да.

— Вы чувствительная. Полюбите — и будете мучиться. Я тоже был такой... И много мучился.

И это признание меня очень удивило. На грустную его сторону и тогда как-то не обратила внимания, а вот слова: «Я тоже был такой... мучился» — помню и до сих пор. Не было ли следом этих мук — душевных, юношеских — все то грустное, что связано в его рассказах и больших вещах с любовью... а почти всё, до последних его вещей, наполнено любовью и грустью. Но мне тогда казалось главным то, что выходит — мы с ним в чем-то схожи. «Значит, он полагает, что и мне надо все это испытать», — смутно думалось мне, и это как-то утешало меня в том, чего Бунин тогда прямо не сказал, что из моих попыток писать выйдет что-либо путное.

В предпоследний раз видела я его в театре «Ванемуине» на «чтении», как он сам назвал свое выступление в открытке, неожиданно полученной мной:

Милая Вера, все время был занят — посетители и всякие свидания — не мог повидать вас еще раз. Будете ли завтра вечером на моем чтении? Если да, зайдите ко мне в антракте за кулисы. А дома я буду завтра от 2-х до 4-х дня: забегите, если можете.

Поклон вашей маме.

Вечер 8 мая.

Эта открытка ужасно меня обрадовала, и я побежала к двум часам следующего дня опять к нему (но уже без тетрадей) — и видела Ивана Алексеевича только в спину, мельком. Он проходил с какими-то мужчинами по вестибюлю в зал и приостановился в дверях, пропуская кого-то. Я заметила тогда в первый раз, что он небольшого роста. Хотелось мне подбежать, но портье за конторкой смотрел так строго, что пришлось уйти.

Помню, что в эти дни, когда Бунин был еще в Тарту, а я не могла его видеть, я читала его стихи в томиках марксовского издания, и все почему-то мне открывался «Сапсан»:

В полях, далеко от усадьбы,  
Зимует просяной омет.  
Там табунятся волчьи свадьбы,  
Там клочья шерсти и помет.  
Воловьёв ребра у дороги  
Торчат в снегу — и спал на них  
Сапсан, стервятник космогоний,  
Готовый взвиться каждый миг.

Никто из принимавших его в богатых домах не говорил на таком языке. Это язык самый русский, самый простой. Он унес от него ключ с собой — за то, что не потерял этого ключа на чужбине, и надо его благодарить. Но кто из тех, кто сейчас с ним, помнит сапсана, сидящего на воловьих ребрах, и эту снежную морозную ночь, такую русскую в своей печали и одиночестве?

Когтистый след в снегу глубоком  
В глухие степи вел с гумна.  
На небе мгlistом и высоком  
Плыла холодная луна.  
За валом, над привадой в яме  
Серё маячила ветла.  
Даль над пустынными полями  
Была таинственно светла.

И каким надо быть особенно чутким, иметь особый дар зрения и слуха, особый дар любить и понимать эту простую красоту степи, ночи, сапсана, волка, Сириуса... чтобы так все описать! Помню эти свои мысли и чувства именно потому, что я их не умела тогда никому высказать. Да и не было в том нужды: все, что говорится о человеке при его жизни, гораздо мельче и ненужнее того, что скажут потом.

9 мая, вечером, Бунин читал свои рассказы в театре «Ванемуйне» перед тартуской публикой. Народу было полно. Нам пришлось тесниться и стоять у стен, молодежи было много — русской, эстонской, немецкой. Бунин вышел с книгой в руках, сдержанно ответил на приветствия, сел к столу. Первым прочел он «Кавказ». Почему он его выбрал? Он написал его за шесть месяцев до приезда к нам<sup>5</sup>. Бунин думал, что этот рассказ еще до нас не дошел, но он уже незадолго до того появился в «Современных записках» в нашей библиотеке. Всего три страницы. Взволнованно и стремительно пишет Бунин здесь о любви, но разве только о любви? Здесь вся Россия, все, что он больше всего любил в ней, — Москва, дорога на юг, степь... все, что он видел много раз, проезжая этой дорогой к морю: «Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте...».

Бунин читал при полной тишине и напряженном внимании слушателей. Еще и потому, что в зале было так много нерусской публики, чувствовалось, как напряженно слушают каждое слово. А для нас, кто еще не видел России, это и была она — с ее запахами и голосами, дорогами и селами, горами и морем. Читал он прекрасно. На сцене казался выше своего роста благодаря стройности и худобе. После «Кавказа» прочел «Толстого».

«Я чуть не с детства жил в восхищении им». — При этих словах мне сразу послышалось: «Нет, так мне ни за что не написать».

Бунин пропустил при чтении только то место, где он говорит о сходстве Толстого с его отцом: «... меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом».

И хотя прошло с того памятного вечера столько лет, как сейчас вижу его перед собой — в темном костюме, с серебром седины — и слышу его сильный, без напряжения, голос, который свободно доходит до последнего ряда:

«Как рассказать все последующее? Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, — сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-преlestные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад?»

В антракте пошли за кулисы: подруге хотелось бунинский автограф, а мне — еще раз посмотреть на него. Бунин сидел один, перед столиком, как обычно сидят артисты перед выходом на сцену, но в лице не было ничего актерского — оно было человечески просто и строго. Он заулыбался нам, тому, что мы обе покраснели вбежав, но видно было, что он сам под впечатлением того, что прочел. При свете ярких лампочек с двух сторон зеркала лицо его было смугло и бледно — с каким-то пристально углубленным в себя вниманием... он словно жил еще тем,

что только что читал. Мне показалось неудобным говорить сейчас с ним, и мы ушли. Вернувшись на сцену, Бунин стал у самой рампы и рассказывал о Шалипине (с которым был знаком в России и виделся в Париже). Но на этот раз я так плохо слушала, что почти ничего не запомнила, кроме того, что однажды, при их встрече еще в Москве, Федор Иванович внес Бунина на руках на третий этаж гостиницы.

Рассказ был очень живой, в публике смеялись, а мне почему-то все представлялось, как он сидел один в артистической уборной, перед зеркалом, со своим скорбным лицом и острыми, во что-то свое строго глядящими глазами.

10 мая, день отъезда. Пасмурно, довольно сильный ветер. На вокзале кучка людей, собравшихся проводить Бунина. Он едет в Таллин, откуда через два дня Балтийским экспрессом — в Париж. В этот день Бунин обедал у Клавдии Николаевны Бежаницкой (известного в нашем городе врача); с этого обеда в небольшой группе провожающих он и пришел на вокзал. В ожидании поезда Иван Алексеевич ходит по перрону, один, а мы, остающиеся, стоим кружком поодаль. Среди провожающих: Клавдия Николаевна, Тамара Павловна Лаговская (теперь Милюткина), а также помню В. В. Булгарину и Л. А. Курчинскую (у них обоих он побывал)<sup>6</sup>, Б. В. Правдина (доцента нашего университета). День не солнечный, ветер рвет шляпу с головы, я поддерживаю ее рукой и смотрю на Ивана Алексеевича, ставшего уже чужим и далеким в своем темно-сером парижском пальто и со своим уже безразличным, как мне кажется, по отношению к нам видом. О чем он думает? Ведь вот он уедет отсюда, быть может, навсегда, и я никогда больше не увижу его. И в эту минуту, помню, сделалось так жаль, что теряю его — живого, настоящего Бунина.

Меж тем, поезд подали. Внесли в вагон чемодан Ивана Алексеевича; в вагон поднялась высокая красивая дама, Карамзина (мы тогда еще не были знакомы с ней), — счастливица, едет с ним до Тапш! Подходим, прощаемся. Обычные слова. Вот все-таки улыбнулся. И вот уж он на площадке вагона... Не знаю, как это случилось, но я оказалась наверху, на площадке, около него в тот момент, как поезд трогался. Хотелось сказать, что очень его люблю, а сказала только: «Иван Алексеевич!» Он наклонился и крепко, бережно поцеловал меня в щеку.

А потом я бежала и махала платком в окно. Потом стояла, пока поезд не скрылся из виду. Потом шла парком, удивляясь, что не замечала эти дни, как клены уже совсем распустились. А они распустились — и всюду была мягкая, свежая, светло-зеленая листва.

Тарту, 1967

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> 6 мая 1938 г. газета «Postimees» сообщила: «Вчера с послеобеденным рижским поездом прибыл в Тарту русский писатель, лауреат Нобелевской премии, Иван Бунин. На вокзале его встречали: писатель Фр. Туглас, лектор Б. Правдин, В. Булгарина, дир. Соколов и другие местные общественные деятели, студенты и т. д. Выступление И. Бунина состоится в понедельник в 8 час. вечера в „Ванемуйне“, где он расскажет о своих встречах с Толстым, Горьким, Чеховым, Куприным и др.»

<sup>2</sup> Общество русских студентов при Дерптском (ныне Тартуском) университете — беспартийная организация, ставившая своей целью помочь нуждающимся студентам.

<sup>3</sup> Письма Бунина к М. В. Карамзиной публикуются в настоящ. томе, кн. 1.

<sup>4</sup> *Сирин* — псевдоним писателя В. В. Набокова (см. о нем и отношении Бунина к нему настоящ. том, кн. 1, стр. 49—50).

<sup>5</sup> Рассказ этот имеет авторскую дату: 12 ноября 1937 (Собр. соч. 1965—1967, т. 7, стр. 12—16).

<sup>6</sup> В. В. Булгарина — см. настоящ. том, кн. 1, стр. 680. Л. А. Курчинская — жена профессора М. А. Курчинского.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## ПИСЬМА БУНИНА к В. В. ШМИДТ

1938—1944

В. В. Шмидт получила от Бунина 14 писем. Ниже публикуются семь из них. Четыре письма (от 9 декабря 1937 г., 30 апреля, 5 и 8 мая 1938 г.) включены в текст ее воспоминаний (см. выше, стр. 331, 332, 336), три (открытки от 24 апреля, 30 мая и 12 сентября 1938 г.) опускаются ввиду незначительности их содержания.

Все письма хранятся в личном архиве В. В. Шмидт (Тарту).

## 1

〈Париж, 24 января 1938 г.〉

Получил нынче ваше отличное письмо — милое и горячее. Пришлите мне вашу карточку и напишите подробно о себе: сколько вам лет, что вы делаете — учиться? — чем думаете быть, есть ли у вас семья, русская ли вы или нет, пишете ли что-нибудь и т. д.

Ив. Б у н и н

24.I.38

Р. С. Я, может быть, буду скоро в ваших краях.

Второе письмо Бунина В. В. Шмидт (первое — см. выше, стр. 331). Написано на обороте фотографии с надписями: «Ноябрь. 1937. Париж»; «Вере Шмидт — Иван Бунин» (такая же фотография была послана Н. Д. Телешову 15 сентября 1947 г. — см. настоящ. том, кн. 1, стр. 633).

Место отправления устанавливается по почтовому штемпелю: «Paris. Rue Singer. 1938».

## 2

25 Av. de Villaine, Beausoleil. A. M., France.

〈6 марта 1939 г.〉

Моя дорогая, милая Верочка, получил в свое время ваши письма и стихи, да был так занят, что все откладывал ответ, а потом уехал в Париж, где печаталась моя новая книга, а потом хворал, вернувшись сюда, и вот только теперь пишу. В стихах ваших, несмотря на всю их невразумительность, есть что-то настоящее, поэтическое, письма ваши были очень интересные — вы умница и многое отлично чувствуете... Целую вас сердечно и прошу написать мне, как вы теперь живете, что делаете, что пишете. Думаю, что вы теперь стали уж совсем «большая» (и боюсь, что влюблены в кого-нибудь). На днях выйдет эта моя книга и я пошлю вам ее.

Поклонитесь маме.

6 марта 1939 г.

Любящий вас Ив. Б у н и н

## 3

〈Грасс, 8 июня 1939 г.〉

Милая Верочка, я теперь на юге — Villa Belvédère, Grasse, A. M., France. Сравнительно недавно приехал из Парижа, где был болен. Письмо ваше от 15 марта получил давно. В стихах, что при нем приложены, много, к сожалению, чего-то общего, чужого. И мало простоты, — особенно к концу: «И я позорно к песням пригвожден... Но жду — во тьме глухой мне скажет Он...». Это пустословие. И кто это — загадочный «Он»? Не обижайтесь, дорогая моя, и займитесь стихами как следует, не губите талантов своей. Целую вас и желаю всех благ.

Ив. Б.

8.VI.39.

4

〈Грасс,〉 11. X. 39

Милая Верочка, нынче получил ваше письмо — целую вас за все его отличные качества. Кланяюсь вашей маме — и да хранит бог вас обеих. Если можете, уезжайте непременно куда-нибудь — в Данию, в Швецию. Мы застряли в Грассе, живем на даче англичан, уехавших на родину. Рад, что пишете, что работаете. От всей души желаю счастья вашей молодости и вашим способностям. Пишите мне *открытки*.

Ив. Б у н и н

Место отправления определяется по обратному адресу на конверте: «Exp. I. Bounine. Villa „Jeannette“. Grasse. A. M.»

5

〈Грасс, 23 февраля 1940 г.〉

Милая Вера, в стихах два недостатка: уж очень немusыкальнo и очень под Блока. Пишите себя, свое, простое, то, чем больше всего живете дома, на улице, в мечтах, за книгой, в жажде любви...

И напишите мне, что делаете, где работаете?

Целую вас, кланяюсь маме.

23.II.40

Ив. Б

Место отправления определяется по обратному адресу на обороте открытки: «I. Bounin. Villa „Jeannette“. Grasse. A. M.»

6

〈Грасс,〉 15 декабря 1943 г.

Дорогая, милая Верочка, и я вас помню и люблю, и потому ваше письмо получил с истинной радостью — и, конечно, с большим удивлением — точно с того света письмо! (И какое прекрасное во всех смыслах!). Рад и тому, что вы с мамой и братом целы и благополучны, живы и здоровы. Что до нас с Верой Николаевной (которая очень тронута вашими словами о ней и шлет вам самые лучшие пожелания), то мы только живы пока — Вера Николаевна стала так бледна и худая, что смотреть страшно, я так слаб, что задыхаюсь, взойдя на лестницу: пещерный сплошной голод, зимой — нестерпимый холод, жестокая нищета (все остатки того, что было у меня, блокированы за границей, со всеми моими издателями я разобщен, заработков — никаких) и дикое одиночество: вот уже три года, даже пошел четвертый, сидим безвыездно в Grasse'e — куда же теперь выедешь! Написал я за это время все же целую новую книгу рассказов, пишу и сейчас понемногу — и все только для ящичков письменного стола! А вы — уже ли совсем забросили писание? — Вы об этом ни слова не пишете. — Очень благодарю за вести о милой и несчастной Марии Владимировне.

Даст ли бог встретиться? Если бы дал! Целую вас от всей души, целую руку мамы.

Ваш Ив. Б у н и н.

P. S. Напишите еще как-нибудь.

7

〈Грасс,〉 7.4.44.

Милая, дорогая Вера, получил ваше второе письмо и опять очень тронут им, благодарю и целую вас сердечно. Пережили месяц большой тревоги — нас, иностранцев, хотели выкинуть из Alpes Maritimes, но пока не трогают. Если переедем в Париж, извещу вас. А пока да хранит вас бог. Не забывайте меня, хоть изредка извещайте, что вы и как. Поклонитесь от меня вашей маме.

Ваш Ив. Б у н и н<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Это письмо дошло до адресата только в 1958 г. из Парижа.